



Б. К. ЗАЙЦЕВ

Бунин

(Речь на чествовании писателя 26 ноября)

...Девяностые годы прошлого века — вот литературное начало Бунина. Время, когда господствовало чистое интеллигентство, типа «Русского богатства», и появляется символизм.

Бунин писал тогда стихи и маленькие рассказы. Для толстых журналов лирические и поэтические очерки его, особенно же стихи, не были достаточно «идейными». Он считался «эстетом». Его ценили и печатали, но он не был «свой».

Не свой оказался и у только что явившихся символистов. Для этих слишком он реалист, слишком любил видимость, жизнь, воздух, краски. Он был сам по себе.

Двух станов не боец,
Но только гость случайный.

Так вступил Бунин на одинокий путь свой, иногда трудный и неблагодарный, но всегда воспитывающий: требующий выдержки, твердости, веры.

Литературное развитие его шло медленно — подобно росту органическому. Цветение, завязь, плод. Как у всякого истинного художника, это свершалось в глуби — и в молчании.

Наступил новый век, в нем шумели Горький, Андреев, сборники «Знания», символисты, «сексуалисты» (Арцыбашев и др.) — много было оживления и даже как бы кипения в литературной жизни России предвоенной: Бунин занимался не шумом, а искусством. Весь его креп не от погони за модой, а от внутреннего созревания и совершенствования артистического.

Бессюжетный лирический рассказ, типа «Тишины», «Надежды» — с ясным и чистым рисунком, в изящной, но еще с оттенком женственности манере сменяется «Астмой» и «Суходолом», в особенности же «Деревней» — первой большой и очень «солонно» написанной вещью.

Тут задача чисто изобразительная, описательная — раздолье для бунинского глаза, памяти, раздолье и для языковой щедрости. «Деревня» очень горькое и очень смелое произведение. Горька она сумрачным подходом к России, тяжким, почти беспробудным ее изображением. Говорят, Толстой в конце жизни тосковал, что народ «испортился». Похоже на правду! Народных фигур «Войны и мира», «Записок охотника» или лесковской галереи — в начале нашего века что-то не видать. Может быть, и сохранились Платоны Каратаевы, Лукерьи из «Живых мощей», Несмертельные Голованы — но уже где-то в подполье. Никак не они задавали тон жизни, подготавливавшей русскую трагедию. Народолюбческое же настроение и некоторая идеализация крестьянства удержалась еще в просвещенном русском слое ко времени появления «Деревни».

Бунин не побоялся сказать горькую правду о деревне — ни с кем и ни с чем не считался, кроме *своего* глаза и *своего* понимания. «Так вижу, так изображаю». (В этом верный ученик Толстого).

Он подвергся известным упрекам за «односторонность» — и прошел мимо них.

Но в «Деревне» смелость состояла не в одном этом. Смелость художника заключалась в том, чтобы и в самом строении вещи не считаться с читателем, не играть на внешней занимательности, слагать пласты повествовательные и описательные так, как это самому нравится, за легким успехом не гоняясь.

В своей прямоте и мужественности Бунин лишь выиграл. Победа оказалась медленной, но основательной. «Деревня», первая крупная вещь писателя полосы начинавшейся зрелости, прочно осела в литературе — осталась (а сколько мы видали других побед, блестящих и дешевых, с тою же легкостью, как и пришли — ушедших!).

* * *

«Деревня» написана около 1910 года. Время отсюда до революции — первая полоса шедевров Бунина. За эти годы он много странствовал. Побывал в Константинополе и Палестине, Египте, Индии, не говоря уже о Европе. (Был в Италии, жил на Капри). Мир очень раздвигался. И теперь это уж именно миръ, а не только «елецкое» или воронежское, московское. «Господин из Сан-Франциско» живет не на Арбате. Небольшой рассказ вместил большую тему, вылился суровой и прекрасно-музыкальной прозой. Эта удача бурного и шумного характера. Успех «Госпо-

дина из Сан-Франциско» был огромный. Более в стороне сдержанно-спиритуальное «Сны Чанга». Удивительны и «Братья» и «Воды многие» — морской дневник, где чрезвычайной силы и значительности достигает слово, зрительная изобразительность доведена до предела: читатель почти галлюцинирует (замечательно на любовь «сухопутного» и степного даже Бунина к морю, и особенная его удача при изображении моря).

«Господин из Сан-Франциско» давно и по достоинству прославлен. Менее знали и ценили стихи Бунина, в сущности недооцененные и поныне. Думаю, причина та, что стихи эти особенно расходились по духу с господствующим направлением и жизненноощущением в стихотворстве русском: с символизмом и его производными.

Действительно, Блок и Бунин — два мира, плохо уживающихся. В одном — смутная и туманная пена неких душевных состояний, музыка, неопределенный, иногда обольстительный, иногда ядовитый хмель. В другом — крепость, пластика, изобразительность. Элемент музыки второстепенен. Но огромно дыхание, простор, воздух... Слово всегда точно, сдержано и безошибочно.

Наивысший расцвет стихов Бунина — 1916 год. Самые сильные, мрачные, полновесные пьесы написаны накануне гибели той России, которая его родила и чью гордость он сейчас составляет. Из двухсот (приблизительно) стихотворений, помещенных в недавно вышедшем томе «Избранных стихов» — это стихи за всю жизнь! — 50 помечены последним годом прежней России (1916). Их общее настроение — трагедия, надвигающаяся туча, — хотя говорят они и о самом разном. Среди них есть перлы.

* * *

Нередко говорят, что писатель вне родины чахнет. Он оторван, не знает быта, жизни, ему будто бы не о чем писать. Этим корили в свое время Тургенева. Этим травят сейчас эмигрантов.

Если понимать литературу в малом стиле — как фотографический аппарат, зацелкивающий беглую современность, тогда это верно. Если брать в ней только внешность, обходя сердце, тогда тоже верно. И тогда придется счесть литературой всякий «очеркизм» — подменить литературу журналистикой.

Если же принимать ее в высоком смысле (но ведь только так и интересно говорить о ней) — как о поэзии, некоем духовном излучении, тогда центр интереса перемещается из внешнего во внутреннее. Если душа жива, растет и зреет, если дрожат внутренние волны, то всегда будет о чем писать.

Бунин покинул Россию в 19-м году. Значит, четырнадцать лет провел вне Родины. Увял ли он?

Лишь невежество и недобросовестность могут утверждать, что увял. Не только людям, давно и верно Бунина любящим и следящим за его развитием, но и каждому, кто хоть *бегло* просмотрел бы произведения его *после* 1919-го года, станет ясно, что как раз в изгнании Бунин поднялся *еще на ступень*, вошел в полосу *закрепленной зрелости*.

Изгнание даже пошло ему на пользу. Оно обострило чувство России, невозвратности, сгустило и прежде крепкий сок его поэзии.

Художник поселился в Грассе. Кто знает это прекрасное, чистое и тихое место, безмерный в красе своей и в благородстве провансальский пейзаж — с морем на горизонте и внизу лежащим сухим, коричневым, с флорентийским оттенком городком Грассом, тот сразу поймет, что отсюда видение мира, как и видение России должно было принять особенный характер. Русская литература может поклониться Грассу.

Здесь написаны «Несрочная весна», «Цикады», «Митина любовь». Здесь же и «Жизнь Арсеньева» — еще не законченная.

Бунин довольно давно отошел от стихов. Но поэзия еще сильнее напитывает его теперешнюю прозу, чем раньше. Далеко в прошлом юная поэтичность ранних произведений (иным стало *слово*, закалившееся и окрепшее, иной *длина волны* во фразе, шире дыхание). Не так близка Бунину нашего времени и острая зрительная изобразительность, предметность среднего его периода (время «Деревни», путешествий).

Восторг и страсть, горечь и прелесть жизни, любовь и ревность, чрезвычайные силы, как бы мифологическое переживание прошлого (Россия) — вот чем полны «Солнечный удар», «Митина любовь», «Жизнь Арсеньева». Бунин всегда был великим жизнелюбом — религия священной жизни для него всегда была близка: теперь выступило это с особой силой.

«Жизнь Арсеньева» есть как бы саролавого автора. Детские годы в деревне, Россия Ельца и Орла, Малороссия, юг, порывы души созревающей, переходящей из отрочества в юность, в любовь, с жадной вобрать в себя весь мир, с внезапными скитаниями, бурными иногда резкими порывами сердца и темперамента — все это взято сквозь (волшебную) призму поэзии. Все — в некоем мифологическом, очень тонком и легком тумане. В нем отчасти меняются очертания. Действительность смешивается с воображаемым — и наоборот. Совсем ли такой был молодой Арсеньев, насколько портретна молодая женщина, с которой он испытал

жизнь страстей, неважно. Важно, как рассказано о них, как они изображены. Важно, что они живут в некоем мире, *не совсем* повторяющем обычный, будничных.

Поэзия есть ощущение мира с волшебным оттенком. Поэтому и мир, создаваемый поэтом, несет оттенок мифизма.

«Жизнь Арсеньева» не закончена. Но и в теперешнем виде она показывает как бы всего, цельно собранного Бунина. Уже по ней одной можно сказать, что все творчество его есть хвала источнику жизни, Творцу. Бог — отец, вот его ипостась.

* * *

В эти дни ко всему тому, чем был для нас Бунин, прибавилась еще черта: триумф.

Бунин увенчан не впервые. Трижды он получал в России Пушкинскую премию. 1-го ноября 1909 года был избран академиком по разряду изящной словесности (в заседании Академии, посвященном Кольцову). Ясно помню тот день, вечер в московском ресторане «Прага», где мы в малом кругу праздновали избрание Ивана Алексеевича академиком, «бессмертным»... Вряд ли и он забыл ноябрьскую Москву, Арбат. Могли ли мы думать тогда, что через четверть века будем на чужой земле справлять торжество беспредельно большее — не гражданами великой России, а безродными изгнанниками?

Значит, так надо было. Надо было Ивану Алексеевичу пережить войну и революцию, перестрадать острую болью крушение той России, которая его породила — и оказаться на западе чуть ли не беспаспортным.

Он не поддался и не сломился. Искусству, Родине, своему пониманию жизни остался верен. В нелегких условиях жил, трудился, рос. Дожил до огромного торжества.

Все русские на чужбине, так уставшие, столь много видевшие бед, неудач, иногда пренебрежительно-высокомерного к себе отношения, радостно взволнованы победой Бунина — победой чистой и духовной, достигнутой лишь талантом и трудом. Радость их понятна.

И она еще больше у тех, кто долгие годы знал Ивана Алексеевича, чьи жизни прошли рядом с ним и его близкими. Кто любил его еще молодым человеком и ценил его дар еще тогда, когда он не был всемирно признан.

От лица этих приношу лауреату свой восторг.

